

# **ОТЧАЯНИЕ**

*Посвящаю моей жене*

## ГЛАВА I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью - Так, примерно, я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем - Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом... Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу и, виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отстает. Неужто не смею вскочить? Он воеет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, — могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать — чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в

жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, — я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца четырнадцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысячу восемнадцать книг, — вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять...

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина — простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, — надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол... В таком настроении невозможно вести

плавное повествование. У меня сердце чешется, — ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, — потому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я, из гостиницы, в таксомоторе отправился... Все это скучно докладывать, убийственно скучно, — мне хочется поскорее добраться до главного, — но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, — контора фирмы была на окраине города, и я не застал, кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное...

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, — успело зайти солнце, опалая по пути палевые облака над горой, похожей на Фузияму, — я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханью ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту — и вдруг содрогаясь... и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не

муки творчества, это — совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках; ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из

земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец дошел доверху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали, на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику — телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, — эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в

обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке.

«Глупости, — сказал я себе, — он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать». И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно — честное слово, — я сел рядом, — дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он, что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, — и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! — потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще

никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей: о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, — дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал, — я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение — все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, — и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего



бессознательно искал. Повторяю, невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но, быть может, уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытаться совершить совершенство, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился набок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

«Папироса найдется?» — спросил он почешки, неожиданно низким, даже солидным голосом, и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

«Немецкие», — сказал он и улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

«Вы немец?» — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.

Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над мятущимся маленьким пламенем. Ногти — черно-синие, квадратные.

«Я тоже немец, — сказал он, выпустив дым, — то есть мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка».

Я все ждал от него взрыва удивления, — может быть, гомерического смеха, — но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это болтус.

«Да, я выпался», — сказал он самому себе с глупым удовлетворением и смачно сплюнул.

Я спросил: «Вы что — без работы?»

Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа.

«Я могу больше пройти, чем мои сапоги», — сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была

действительно неважная.

Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль, на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил:

«В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал — что может быть лучше? Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пива. Девять верст туда и столько же обратно, оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь».

Теперь поглядим со стороны, — но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, — а то слишком удивитесь. А впрочем, все равно, — после всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак: двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену, и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая. То да сё, то да сё... Меланхолично вздыхал. Лежа ничком, отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги.

«Послушайте, — не вытерпел я, — неужели вы ничего не замечаете?»

Перевернулся, сел. «В чем дело?» — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности.

Я сказал: «Ты, значит, слеп».

Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять: «В чем дело, в чем дело?»

Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло. Пожал плечами и отдал.

«Мы же с тобой, болван, — крикнул я, — мы же с тобой — ну разве, болван, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько... »

Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза.

Он снисходительно сказал: «Богатый на бедняка не похож, — но вам виднее... Вот, помню, на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно — их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет приметку. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бац одному из

близнецов в ухо. Смотрите, говорит, у этого ухо красное, а у того нет, давайте сюда ваши сто марок. Как мы смеялись!»

Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма, побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти.

«А работы у вас для меня не найдется?» — осведомился он, склонив голову набок.

Отмечу, что он первый, не я, почувал масонскую связь нашего сходства, а так как установление этого сходства шло от меня, то я находился, по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости, точно мимикрирующим видом был я, а он — образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали: он похож на вас, — а не наоборот: вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот мелкий мошенник испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала, может быть, мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне, — именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во мне сомнительного подражателя. Подчеркиваю, однако, туманность этих мыслей. По крайней

тупости своей, он, разумеется, не понял бы моих комментариев к ним.

«В настоящее время ничем помочь тебе не могу, — ответил я холодно, — но дай мне свой адрес». Я вынул записную книжку и серебряный карандаш.

Он усмехнулся: «Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке».

«А все-таки, — сказал я, — где, в случае чего, можно тебя найти?»

Он подумал и ответил: «Осенью я, наверное, буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтамт и адресуйте. Неподалеку от Тарница. Дайте запишу».

Его имя оказалось: Феликс, что значит «счастливый». Фамилию, читатель, тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой.

Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходительно осклабясь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежачем положении.

Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную, долговязую фигуру среди кустов: он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо изнемог, кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня

сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии, прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом, в конторе, среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику: «Со мною случилась невероятная вещь. Представьте себе...» Но я ничего не сказал и этим создал прецедент тайны. Когда я наконец вернулся к себе в номер, то там, в ртутных тенях, обрамленный курчавой бронзой, ждал меня Феликс. С серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы, бледно-серый костюм, сиреневый галстук. Я вынул платок, он вынул платок тоже. Перемирие, переговоры...

Пыль предместья набилась мне в ноздри. Сморкаясь, я присел на край постели, продолжая смотреться в олакрез. Помню, что мелкие признаки бытия — щекотка в носу, голод, и потом рыжий вкус шницеля в ресторане — странно меня занимали, точно я искал и находил (и все-таки слегка сомневался) доказательства тому, что я — я, что я (средней руки коммерсант с замашками) действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах и ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь

этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа, — я говорю «трупа» только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль, — какую мысль? — а вот какую: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности, — а смерть — это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастье Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет. И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника, — ведь не все так внимательны, ведь часто бывает, что говоришь: «Как похожи!» — о двух знакомых между собою людях, которые не подозревают о подобии своем (и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть). Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видел схожих братьев, соутробников, я видел в кинематографе двойников, то есть актера в двух ролях, — как и в нашем случае, наивно подчеркивалась разница общественного положения: один непременно



беден, а другой состоятелен, один — бродяга в кепке, с расхристанной походкой, а другой — солидный буржуа с автомобилем, — как будто и впрямь чета схожих бродяг или чета схожих джентльменов менее поражала бы воображение. Да, я все это видал, — но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильмвый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки. В данном же случае не было ни анемии близнячества (кровь пошла на двоих), ни трюка иллюзиониста.

Я желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодяев, убедиться, — но боюсь, что, по самой природе своей, слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, — следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, — достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаюсь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго. Но сейчас мне нужна не литература, а простая, грубая наглядность живописи. Вот мой нос — крупный, северного образца, с крепкой

костью и почти прямоугольной мякиной. Вот его нос — точь-в-точь такой же. Вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они и у него. Вот скулы... Но это — паспортный, ничего не говорящий перечень черт, и в общем ерундовая условность. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но не все помнят Амундсеново лицо, я сам сейчас плохо помню. Нет, ничего не могу объяснить.

Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо! Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись: у меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, — но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная «мысль», но когда я сплю, у меня лоб так же гладок, как у моего дубликата. А уши... изгибы его раковин очень мало изменены против моих: спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков, узкие глаза, подтянутые, с редкими ресницами, — но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, и все отличительные приметы, которые в ту первую встречу я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя, себя, в жалком образе бродяги, с неподвижным лицом, с колючей тенью — как за

ночь у покойников — на подбородке и щеках... Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я там нашел золотой окурок, кусок чешской газеты и еще — то жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом. Несколько изумрудных мух дополняло картину. Куда он ушел, где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки, там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось: вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера? Или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга?

## ГЛАВА II

Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком — вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удастся мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе, — такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки.

А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира — три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Лида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату хорошенький, темно-синий автомобиль — двухместный. Успешно, хоть и медлительно, рос на балконе круглый, натуженный, седовласый кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, — по крайней мере, так могло казаться. Однако по возвращении домой из конторы я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр. Приключения моего шоколада притягивали мысль не всегда. Мне,

признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу: мнений моей жены я не разделял. Понятие «большевики» принимало в ее крашенных устах оттенок привычной и ходульной ненависти, — нет, пожалуй, «ненависть» слишком страстно сказано, — это было что-то домашнее, элементарное, бабье, — большевиков она не любила, как не любишь дождя (особенно по воскресеньям) или клопов (особенно в новой квартире), — большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуда. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, — ах, какой нехороший, — и вообще — хулиган и садист. Когда я, бывало, говорил, что коммунизм в конечном счете — великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история, — моя жена невозмутимо отвечала: «Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило». Но я действительно так думаю, т. е. действительно думаю, что надобно что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни, что коммунизм

действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, напрягает ноздри и поднимает бровь (то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины) всякий раз, как смотрится — даже мельком — в зеркало.

Вот, не люблю этого слова. Страшная штука. С тех пор как я перестал бриться, оно не употребляю. Между тем упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. (Представьте себе, что следует: история зеркал.) А есть и кривые зеркала, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер, — а не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам, — уйдем, уйдем, — я не умею смеяться гомерическим смехом, — все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате — тоже мое право. А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, —

здорово она у меня выросла, эта самая борода, — и за такой короткий срок, — я другой, совсем другой, — я не вижу себя. Из всех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня были огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять это слово. Олакрез. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, — не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают.

Она, между прочим, тоже была суеверна. Сухо дерево. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голой, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг земля-нично-ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, — поскорее тронуть, пока еще не остыло в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны: выпавший зуб — смерть знакомого, зуб с кровью — смерть родственника. Жемчуга — это слезы. Очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь — это богатство, кошка — измена, море — душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени. Подтянем пряжку рассказа на одну дырочку.

Она ненавидит Ллойд Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, — и вообще: «Я бы этих англичан своими руками передушила». Немцам попадает запломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина). Французам: «Мне, знаешь, рассказывал Ардалион, что они держались по-хамски во время эвакуации». Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и «обожает Париж», где как-то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: «Настоящий русский мужик — монархист». Теперь она говорит: «Настоящий русский мужик вымер».

Она малообразованна и малонаблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово «мистик» она принимала всегда за уменьшительное, допуская, таким образом, существование каких-то настоящих, больших «мистов», в черных тогах, что ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза: наша, мол, русская. Она читает запоем, и все — дребедень, ничего не запоминая и выпуская длинные описания. Ходит по книгам в русскую библиотеку, сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу



боком, как курица, высматривающая зерно, — откладывает, — берет другую, открывает, — все это делается одной рукой, не снимая со стола, — заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на девяносто градусов, — и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме, — все это длится больше часа, а чем определяется ее конечный выбор — не знаю, быть может заглавием. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю».

Она теперь узнала. Эти все объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись, все, кроме, быть может, одной. Вообще, много чего произошло и теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это была самая жуткая. Разбитое зеркало. Да, так оно и случилось, но не совсем обычным образом. Бедная покойница!

Ти-ри-бом. И еще раз — бом! Нет, я не сошел с

ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотришь, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.

Но теперь мне вдруг стало грустно, — по-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном коробочно-обжудлю-пространство-безфинтифлюшечном стиле, — и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, — какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что, если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все «повторялось», — если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки, — нет, тайны гармонии ей были

совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке: мгновенно стаптывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода, — там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, обрезок молью подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы, например дамские гетры — одним словом, Бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок: чулки у нее рвались немедленно — словно сторали на ее бойких икрах. В хозяйстве она не понимала ни аза, гостей принимала ужасно, к чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, — может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее — за ее любовь ко мне.

Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, — помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустила на стул и тихо произнесла: «Ах, Герман... » — это было

восхищение, граничившее с какой-то райской грустью.

Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок — было бы непосильно. Но она забывала все, — ее зонтик перегостил у всех наших знакомых, история, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизительно так: «Ах, где я читала, — и что это было... не могу поймать за хвостик, — подскажи, ради Бога»; дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она путала даты, имена, лица. Понавыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался, она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи — лунные, летние — самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, — простейший мир; самое сложное в нем

было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить.

Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять впал в прошедшее время, — но все равно, — так удобнее писать. Да, она любила меня, верно любила. Ей нравилось рассматривать так и сяк мое лицо: большим пальцем и указательным, как циркулем, она мерила мои черты, — чуть колючее, с длинной выемкой посередине, надгубье, просторный лоб, с припухlostями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на заказ, с блеском на мослаках и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз (правда, неполное сходство) — это уже роскошь, — да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной, — и хотя я никогда не видал воочию, только ощупывал, свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евойных, — удобное слово, пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на